

Илья Утехин

Устные рассказы о блокадном опыте: свидетельства разных поколений

Обращаясь к устным воспоминаниям, историк прежде всего интересуется отражением событий в их человеческом измерении. О самих событиях исследователь уже осведомлен (и чаще всего лучше и существенно иначе, чем автор устного рассказа), и поэтому вряд ли он узнает новые факты, если только рассказчик не деятель исторического масштаба и не специалист-историк. В любом случае интервью дают бесценные подробности, которым обычно не находится места в учебниках истории, а также оценки, отражающие стереотипы восприятия тех или иных событий или обстоятельств в массовом сознании.

На эти материалы можно взглянуть и иначе — попытаться осмыслить истоки высказываемых оценок, уделить внимание самому процессу рассказывания и построению повествования. Такой подход связан с целым рядом сложностей. Даже гипотетически нельзя учесть все обстоятельства, сыгравшие роль в отборе и интерпретации материала, тем более что и отбор, и интерпретация имели место и в момент восприятия,

**Илья Владимирович
Утехин**
Европейский университет
в Санкт-Петербурге

и по ходу жизни информанта, хранившего в памяти свои впечатления, и в процессе рассказывания данному конкретному слушателю в данных конкретных обстоятельствах. Кроме того, рассказывая об определенном периоде своей жизни, рассказчик всегда опирается не только на собственный непосредственный опыт, но и на широкий круг источников как сведений, так и интерпретаций и оценок.

В ходе интервью (они проводились в 2000–2003 гг. сотрудниками Центра устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге с людьми, пережившими блокаду Ленинграда) информанты могли свободно выбирать темы и строить рассказ по своему усмотрению. Они заранее знали, что интервью посвящены их биографии и что исследователей интересует период их жизненного пути, связанный со временем ленинградской блокады. Однако интервью строилось не в виде вопросов и ответов: рассказчиков провоцировали на самостоятельный связный рассказ. Иногда в качестве исходной точки задавался вопрос о том, сколько рассказчику было лет, когда началась война; в целом же исследователи старались воздерживаться от вопросов вплоть до заключительной части интервью, когда связное повествование рассказчика заканчивалось.

Получившиеся рассказы состоят, как правило, из нескольких разделов, посвященных разным темам (или хронологическим периодам); эти разделы и тематические блоки внутри разделов так или иначе — хронологически, тематически, по ассоциации — связаны между собой. Внутри каждого тематического блока мы встречаем сегменты разного типа: повествовательные, описательные, оценочные, обобщающие и т.д. В анализе интервью мы исходили из следующего предположения: то, что в рассказе не случайно, может быть информативно для исследователя. Это, например, тот факт, что:

- а) в рассказе появляется та или иная тема, упоминается та или иная деталь;
- б) темы появляются именно в этом, а не в ином порядке, и переходы от одной темы к другой именно таковы;
- в) упоминаются именно эти лица, реалии и обстоятельства, притом что некоторые другие не упоминаются; высказываются именно эти оценки и именно в том месте, где они оказываются.

Все это отражает намерения рассказчика и ассоциации, на которые он опирается. Анализ структуры устного повествования может дать исследователю основания для выводов самого разного рода (об образе событий в памяти рассказчика, уровне

и особенностях его нарративной компетенции, средствах, которыми он пользуется, чтобы придать связность своему рассказу; о намерении рассказчика построить определенный образ себя в глазах слушателя; об источниках сведений и оценок, о разных «голосах», прослеживающихся в рассказе, например о роли официального дискурса).

Таким образом, мы полагаем, что каждый шаг в повествовании представляет собой действие, так или иначе объяснимое в свете того, как рассказчик понимает цели своего рассказа, ожидания слушателя и уместность того или иного хода в данном контексте. В такой перспективе даже монологический рассказ оказывается своеобразным свернутым диалогом, предполагающим реакцию на гипотетические вопросы и ожидания партнера, даже когда реальный партнер по коммуникации молчит и не задает вопросов, а только демонстрирует интерес и вовлеченность. Как ни странно, такая «диалогическая» интерпретация оправдана и по отношению к вроде бы «монолитным» рассказам, которые воспроизводятся в сотый раз по накатанным рельсам. Чаще всего в таких случаях весь текст оказывается ходом в воображаемой полемике, частью воображаемого спора, обладает явным пропагандистским зарядом. В первой (преимущественно монологической) части интервью такого рода рассказы записывались от ветеранов — активистов блокадных обществ, которые участвовали в советское время (в форме т.н. «уроков мужества») и теперь участвуют в работе по патриотическому воспитанию школьников.

Между тем для отдельных информантов, непривычных к монологической речи, самостоятельное построение связного рассказа представляло проблему; в таких случаях интервьюер был вынужден активно вмешиваться в процесс рассказывания и задавать вопросы, тем самым влияя на ход и на содержание нарратива. Очевидно, что метод биографического интервью, где в центре внимания исследователя — личность информанта и способы, к которым он прибегает для построения биографического рассказа (т.е. для самопрезентации), работает только в том случае, когда он способен к построению связного повествования и не считает рассказ о собственной жизни бессмысленным делом¹.

В отличие от художественного текста, где неслучайный характер отдельных элементов текста и связывающей их структуры прочитывается как обусловленный авторским замыслом, в

¹ Представляется существенным указать на принципиальное отличие этого метода от тех интервью, которые проводит этнограф. Интерес этнографа чаще сфокусирован не на личности информанта, а на культурных моделях и их деталях, которых сам информант может и не осознавать, эксплицируя их лишь в ответ на вопрос собирателя.

устно-историческом интервью мы имеем дело с гораздо более свободным, спонтанным построением. Однако целостность и связность такого текста также могут быть проанализированы — не только на уровне грамматической и семантической связности, а на более высоком уровне текстообразования: в каждом интервью мы можем обнаружить доминирующие темы и идеи, с которыми связаны эпизоды рассказа и оценки и которые предлагают слушателю определенное осмысление рассказываемого (Шарлотта Линде называет такие средства придания связности, варьирующие от общедоступного здравого смысла до более специфических систем, 'coherence systems') [Linde 1993].

При этом иногда возникает разница между тем, что рассказчик хочет сказать, и тем, что понимает слушатель. Это тем более вероятно, когда слушатель не вмешивается в рассказ своими репликами, ведь в диалоге рассказчик скорее мог бы почувствовать такую разницу интерпретаций из реплик партнера и попытаться скорректировать ее.

Осмысленность и связность текста зависят от целого ряда обстоятельств, как внутритекстовых, так и внешних по отношению к тексту. Для того чтобы понять рассказ (или, точнее, понять его так, как этого хочет рассказчик), недостаточно понимать слова и выражения, из которых он состоит. Нередко от слушателя требуется специфическая культурная, а не только языковая компетенция, чтобы он мог понять, например, что в нескольких местах повествования разными словами обозначена одна и та же реалья, не говоря уже о понимании мотивации поступков персонажей, которые могут оставаться загадкой для слушателя (рассказчик может никак их не комментировать, если для него они разумеются сами собой).

Когда у рассказчика есть основания полагать, что слушатель не обладает необходимой компетенцией, рассказ строится соответствующим — отчасти «просветительским» — образом. Поэтому вполне предсказуемо, что при общении с интервьюером, по возрасту годящимся информанту во внуки (а в проекте Центра устной истории ЕУСПб так оно и было), рассказ может, по крайней мере в самом начале, включать в себя неспецифические широко известные факты. Писатели Даниил Гранин и Олесь Адамович, работавшие в 1970-е гг. над посвященным блокаде устно-историческим проектом, находились в принципиально иной позиции. Истории, отраженные в «Блокадной книге» [Адамович, Гранин 1994], рассказывались пожилым людям, ровесникам рассказчиков, прошедшим войну; к тому же один из них, Д. Гранин, воевал на Ленинградском фронте. Принадлежность к одному поколе-

нию и общность опыта позволяли рассказчикам отталкиваться от других посылок, общаться со слушателями как с понимающими и потому выбирать в качестве достойных другие темы. При этом о многом, что рассказчику казалось само собой разумеющимся и, возможно, его слушателю тоже, в рассказах не упоминалось, а для сегодняшнего читателя это представляло бы безусловный интерес.

Сегодня опубликованы и доступны многие документальные материалы и воспоминания о ленинградской блокаде¹. На их фоне оказывается возможным более полное прочтение устно-исторических интервью. Вместе с тем многие информанты и сами активно интересуются документальной прозой о блокаде и мемуарами, поэтому в ходе рассказа могут явно или неявно апеллировать к подробностям, мнениям и оценкам, ставшим известными из этих публикаций. В наиболее значительных публикациях такого рода, таких как, скажем, записи Л.Я. Гинзбург [Гинзбург 2002], содержатся размышления о воздействии нечеловечески трудных бытовых условий на психологию и поведение людей, на интерпретацию ими своих и чужих поступков. В интервью, собранных Центром устной истории, неоднократно всплывают вопросы этического характера, на которые трудно найти однозначные ответы; такие вопросы могут становиться сквозными для всего интервью. Как можно предположить, в каком-то смысле опубликованные материалы, известные информантам, оказывают на них сенсбилизирующее воздействие, подталкивая к упоминанию и обсуждению моральных и психологических аспектов блокадного опыта.

В качестве структурирующих принципов в собранных в рамках проекта рассказах можно выделить несколько придающих повествованиям связность тем:

- счастливая случайность;
- Божий промысел;
- жизнь — больше, чем физическое выживание;
- голод;
- блокада глазами ребенка;
- блокадный опыт, как он отражается во мне сегодня.

На них мы и остановимся. Эти темы представлены неравномерно в трех группах интервью, которые мы условно выделяем ниже (интервью блокадных детей, подростков и молодых взрос-

¹ См. библиографию на сайте Центра устной истории ЕУСПб.

лых). Например, построение, основанное на идее «глазами ребенка», встречается только в рассказах тех информантов, которые в блокаду были детьми.

В принципе целый ряд цитат мог бы оказаться иллюстрацией более чем одной темы. В использовании примеров мы следовали выбору авторов, т.е. отталкивались от того места, которое эти пассажи занимают в повествовании. Оно никак не вытекает из содержания самих цитируемых выдержек из интервью; если бы нашей задачей было продемонстрировать структурную роль приводимых цитат в рассказах, из которых они взяты, нам пришлось бы привести анализ каждого интервью, что не является целью данной статьи.

Счастливая случайность и Божий промысел

Немногие интервью целиком построены вокруг этой темы, но едва ли найдется хотя бы одно из почти сотни, где бы ни упоминался тот или иной эпизод, когда смерть была рядом, но миновала по счастливой случайности, или же не упоминались неожиданные обстоятельства, способствовавшие тому, что рассказчик или его близкие выжили. По сути дела, каждая блокадная история призвана так или иначе объяснить, как рассказчик выжил в условиях, когда тысячи людей вокруг гибли. Счастливое стечение обстоятельств — один из вариантов осмысления того, что может быть иначе истолковано как судьба или Божий промысел, избавляющий от гибели.

[1]

Р.: Я убежала, я стояла у парадной, и у парадной попал снаряд. Но никто не пострадал, давно вспоминали девочки, потому что учительница увела всех тогда в подвал, но там, где мы стояли, попал туда снаряд. Вот тоже вот интересно. А я побежала домой, в таком состоянии, когда снаряды сыпались по этой улице. Я, когда уже дети мои были, приходила [к этому месту] и говорила: «Вот, смотрите, я бежала и снаряды сыпались, а потом бабуля [мать рассказчицы] меня вот так трясла [ругала], что я вот, бежала [под обстрелом вопреки запретам]». А у нас... попал снаряд в наш дом в крышу, значит, отскочил осколок, значит, об другую стенку, влетел к нам в окно и упал маме на подушку. Вот долго мама потом хранила, длинный был такой вот осколочек. Вот такой вот. Долго потом хранили. Потом уже забыли. Вот тоже не судьба. Вот когда она была на оборонных [работах], вот так вот просвистел и тут на подушке был осколок, в подушке застрял.

И.: Удивительно.

Р.: Ну, такие вот случаи. Да, вот, не суждено. Все от судьбы

зависит. Не от нас. Ну, вот долго расс... куда она осколок этот дела, не могу сказать (Вострова, 12¹).

В этом отрывке мы видим два эпизода, истолковываемые как счастливые случайности, и обобщение, которое, подводя итог, связывает несколько эпизодов воедино; обобщение относится не только к приведенным эпизодам, но и к предыдущей части повествования. В подобных случаях тема счастливой судьбы может отвечать и за связность повествования в целом, потому что и весь рассказ может строиться как цепочка эпизодов, после которых следует обобщение. Обобщение может служить и переходом к следующему подобному эпизоду², ср.:

[2]

Я тут как-то подсчитывал — оказалось, что я раз 10 был на волосок от смерти. Только какой-то счастливый случай в самый последний момент спасал. Потому что вот даже снаряд как-то ночью попал в соседнюю квартиру. А соседняя квартира была за стеною. Вот он взорвался за стеною, но на мое счастье вся сила взрыва ушла в другую сторону. Меня, правда, сбросило с кровати сотрясением (Молчанов, 9).

Интерпретироваться как спасительная случайность может не только заступничество судьбы в момент обстрела или бомбежки, но и, например, наличие (или внезапное обнаружение) довоенных запасов, будь то бутылка мадеры, которую давали ослабшему ребенку по чайной ложке, или, скажем, материалы для задуманного еще до блокады ремонта (обоинный клей), ср.:

[3]

Нас фактически от смерти спасло что? У папы был приятель, он ухаживал за лошадьми. И перед уходом в армию он принес нам 10 килограмм отрубей. За бутылку водки. И вот эти отруби, мама варила каждый день (Иванова 12)³.

Заметим, что доступ к дополнительным ресурсам в виде пищи или дров, когда он выглядел логично и предсказуемо как след-

¹ Ссылки на интервью даются в формате «фамилия, возраст в 1941 г.»; пол респондента указывается в тех случаях, когда фамилия не дает об этом однозначного представления. «И.» — интервьюер, «Р.» — респондент.

² Особенно см. функцию союза «потому что»; встречается также в цитате [6].

³ Продолжение этого отрывка представляет особый интерес с точки зрения переключений временных пластов, позднейшей ре-интерпретации и назидательного дискурса (см. также ниже раздел «Блокадный опыт, как он отражается во мне сегодня»): *Я еще говорила: «Мама! Оставь хоть 200 грамм на мирное время, чтоб потом почувствовать вкус этой каши!».* Это было уже в ноябре, в ноябре было... ну, уже совсем плохо. Но у нас были дрова. Вот мы с братом таскали эти дрова к себе на переднюю, пилили их с ним пилой, а затем кололи во дворе. [Обращается к внучке] Вот мама [т.е. дочь рассказчицы] еще удивлялась, что я умею колоть дрова.

ствии привилегированного общественного положения, если и истолковывается как счастливая случайность, то только в рассказах тех, кто был во время блокады маленьким ребенком.

Специфическим вариантом темы счастливого стечения обстоятельств оказывается понимание такого стечения не как случайности, а как своеобразной закономерности — воздаяния за веру. Бог упоминается во многих интервью, но есть рассказы, которые целиком строятся вокруг веры и идеи Божьего промысла: несколько интервью были взяты у информантов, принадлежащих к общине евангельских христиан-баптистов. Это и блокадные дети из семей баптистов, и уверовавшие сравнительно недавно; у последних истолкование блокадного опыта в свете идеи Божьего промысла, как можно предположить, представляет собой позднейшее переосмысление.

Жизнь — больше, чем физическое выживание

Экстремальные условия блокадного быта, сосредоточивавшие интересы личности на физическом выживании и добывании пищи, отражаются, в частности, в рассказах о нечеловеческих и преступных поступках доведенных до крайности людей. В опубликованных мемуарах мы встречаем попытки анализа психологии голодающего, в постперестроечных СМИ образ блокады связывается с вызывающими ужас подробностями вроде каннибализма.

Некоторые рассказчики явно или неявно апеллируют к этому контексту, для них важно подчеркнуть другую грань блокадной жизни, характеризующую устремления людей их круга: несмотря ни на что, они оставались людьми, для которых жизнь не сводилась к физическому выживанию.

В официальном дискурсе советского времени идея несводимости блокадной жизни к физическому выживанию проявлялась в том, что описания блокады почти обязательно предполагали упоминание стихов Ольги Берггольц и Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича, а также того факта, что в блокадном городе работал театр. В рассказах наших информантов мы встречаем указания на человечность в отношениях между людьми и на духовные потребности, которые, как это ни могло бы показаться странным, оставались актуальны.

[4]

Понимаете, в блокаду люди... В блокаду люди жили. В особых условиях, но при каждой возможности они все же вспоминали, что они люди. Так же, как, скажем, какой-то зеленый росток мы видим на заасфальтированной дороге. Возникла какая-то трещинка, вот этот зеленый росток вылезает, вот, так вот при

какой-то малейшей возможности в человек тоже что-то... жизнь как-то пробуждалась, что ли. Понимаете? Поэтому я не согласен с тем, когда сейчас начинают, вот, о блокаде писать только вот так, в ракурсе этих трех месяцев. Понимаете, там, вплоть до людоедства. Это было, это было, я знаю (Крюков, 12).

Повествование А. Крюкова примечательно сразу в нескольких отношениях. Оно структурировано четырьмя тематическими доминантами: причастность к музыке как основа личностного самосознания рассказчика, повседневный героизм матери рассказчика, счастливая случайность и жизнь как нечто большее, чем физическое выживание¹. Этот рассказ содержит как имплицитную, так и открытую полемику со стереотипными представлениями о блокаде и блокадниках. Рассказчик реконструирует взгляд тогдашнего себя, двенадцатилетнего подростка, вспоминая о парадоксальном, на первый взгляд, эстетическом аспекте, который открывался ему даже в трагических эпизодах: так уж устроено его мировосприятие. Например, он описывает лунный свет, падавший через разбитое окно в промороженную комнату, где снег лежал на теле отца.

Чтение книг как занятие противостоит часто встречающимся воспоминаниям о том, как книги жгли в печке вместо дров, вырывая страницы и скручивая их в трубочку. О чтении Пушкина наш информант рассказывает после эпизода с сожжением соседом в буржуйке на коммунальной кухне Марковского «Капитала»; вообще говоря, чтение в нескольких интервью оказывается символом своеобразной победы над голодом.

В том же ряду собственно человеческих, а не животных, спровоцированных голодом действий стоят неожиданные проявления взаимопомощи со стороны незнакомых людей; в их число попадают некоторые эпизоды, истолковываемые как счастливая случайность. Такова, например, история девочки, которая несла отцу кастрюльку супа: ее остановил шедший мимо солдат и заставил растереть обмороженные щеки, сам же караулил кастрюльку, чтобы ее не унесли (Рыбальченко, ж, 11).

Человеческие отношения и специфика блокадной человечности становятся предметом рассуждений в целом ряде интервью, где, как в приводимой ниже цитате, обсуждается отношение ленинградцев к тем, кто упал на улице. Обычная практика, ставшая этической рутинной и не включавшая в себя поэтому морального выбора, не предполагала попыток подать руку или поднять упавшего. Несколько информантов характеризуют та-

¹ Подробный анализ структуры этого рассказа см. в публикации [Воронина, Утехин 2006]; транскрипт интервью доступен по адресу <<http://www.eu.spb.ru/oralhist/krjukov.htm>>.

кое отношение как проявление безразличия¹. Однако возможен и принципиально иной взгляд, предлагающий объяснение и оправдание этой практике, в контексте утверждения о в целом человеческом характере взаимоотношений людей на улице:

[5]

Кроме страха, и ужаса, и жестокости была еще и доброта. Доброта и человеческое отношение друг к другу. Это тоже было. И если кто-то говорит, что этого не было, это не правда. Было это. И когда вот иногда говорят, что вот люди падали и, мол, никто к ним не подходил, понимаете, не подходили никто не потому, что вот человек упал и никто не хотел ему помочь. А вот я иду, человек упал, и я понимаю, что если я начну этого человека поднимать, то я тоже упаду и тоже не встану. И я уйду и этому человеку не помогу. Очень часто именно так объяснялось. Понимаете ли, было, и добро было, и человеческое отношение друг к другу было. Все это было. Понимаете, все это было. Так что нельзя только одни кошмары вспоминать (Итс, ж, 18).

Рассказчики пользуются в подобных контекстах представлением об «обреченных» людях, которым уже ничто не может помочь. Может показаться парадоксальным, что в ходе рассуждений о человечности и доброте приводятся эпизоды вроде следующего:

[6]

Уже на вторую зиму, наверное, 42-го года... пришлось мне куда-то так через Троицкий мост идти, вот так или толпы, передвигая, по два пальто было одето. Вот в одном холодно было, откуда они брались эти пальто, я даже не знаю, ну так, наверное, от родственников, которые уже умирали. Потому что на мне какое-то было пальто мое, а потом еще какое-то было одето, и подпоясано обязательно, потому что так теплее было. И... вот я помню, что я поскользнулась и упала, но сила у меня была, я не обреченная была, я вот мост перешла Троицкий, и вот тут где-то я упала. Так люди руку мне не подавали, но с сочувствием таким и как бы приказом мне говорили: «Вставайте! Вставайте!». Да. То есть это было и сочувствие, и помощь по возможности. Вот. Я так понимаю (Константинова, 20).

Отметим, что такие рассуждения встречались в рассказах не детей или подростков, а людей, чья юность пришлась на время

¹ Безразличие — весьма важный и довольно частотный мотив: это и безразличие к судьбе других людей, и притупленность чувств, спокойствие при обращении с умершими, и отсутствие страха перед опасностью. Мы, однако, не останавливаемся на этом мотиве специально, поскольку в нашем корпусе нет рассказов, где бы он получал статус одной из «несущих», стержневых тем.

блокады. По блокадным меркам они были уже взрослыми и отвечали за собственные поступки в условиях, когда нормальный ход вещей (в том числе и отношения незнакомых людей на улице) претерпел существенные изменения по сравнению с довоенным временем. Человечность, которую можно было себе позволить, вынужденным образом сводилась к словесному ободрению упавшего прохожего.

В ряду эпизодов собственно человеческого самоотверженного поведения стоят и истории о самопожертвовании ради выживания родных и близких.

Голод

Голод — центральная тема всех повествований о блокаде, устных и письменных. Так, знаменитые дневники А. Болдырева («Осадная запись») в буквальном смысле представляют собой хронику борьбы с голодом. Другой мемуарист, Б. Михайлов, в своей автобиографической книге «На дне блокады и войны» интерпретирует ситуацию в блокадном Ленинграде как организованный геноцид части населения со стороны властей, которые, как он пытается показать, намеренно не использовали возможности наладить снабжение продовольствием. Жители города, как отмечает мемуарист, делились на три категории: те, чье общественное положение гарантировало им пропитание (т.е. те, кого власти признавали ценным); те, у кого был доступ к источникам продовольствия помимо карточек и кто выживал благодаря этому (часто это предполагало действия, не предусмотренные законом или противоречащие ему); и большинство населения — те, кто находился «на дне», не имел, кроме выдач по карточкам, другой возможности получить продукты и, таким образом, был обречен на смерть, поскольку карточный рацион не позволял выжить [Михайлов 2001: 64]. Как бы ни относиться к оценкам Б. Михайлова, его классификация лишь преломляет действительное положение вещей.

Попытки обобщения масштабов катастрофы встречаются и в нашем корпусе интервью. Опираясь на свой блокадный дневник¹, один из информантов говорит о том, что вывод о масштабах смертности от голода он сделал на материале населения своей коммунальной квартиры:

[7]

Где-то у меня было такое, что написано, что треть умерло. Треть из этого населения. Я еще... я вообще как бы делал такие

¹ Ссылки на собственные записи блокадного времени как дополнительное свидетельство достоверности (всегда имплицитно поднимающие тему памяти и достоверности) встречаются в корпусе рассказов неоднократно.

как бы неправомерные выводы. Вот для того, чтобы делать вывод, надо иметь полноценную выборку. Да? Достоверную выборку. А у нас выборка вот 55 человек. Она, конечно, не достоверная, чтобы по ней делать выводы о городе вообще (Любовский, 18).

Каждое повествование содержит сведения о блокадной диете, нередко с подробными рецептами приготовления пищи из не предназначенных для еды субстанций (например, столярного клея) и рассказами об охоте на кошек и голубей осенью 1941 г. От норм рационирования и их изменения, особенно в самый тяжелый период с осени 1941 г. по весну 1942 г., зависело выживание. В рассказах упоминается И.А. Андреевко, зав. отделом торговли Ленгорисполкома, отвечавший за снабжение продовольствием и объявлявший о выдачах и изменениях норм по радио.

Магазины, где отоваривались карточки, прежде всего булочные, нередко становились местом драматических событий, и не только потому, что многочасовое ожидание в очереди могло оказаться безрезультатным. Здесь обнаруживалась потеря карточек, здесь обезумевшие от голода люди выхватывали хлеб из рук у только что получивших и ели его, причем дети и подростки нередко становились жертвами подобных инцидентов; здесь же толпа избивала таких преступников:

[8]

А хлеб... Как бедную одну девушку били за хлеб, мне было, ой, до смерти жалко, я не знала, как мне помочь ей. Бьют, отняла у кого-то хлебушек-то и вот так. Кровь течет. Ее бьют! Ногами, всяко, я не могла смотреть! И обидно, и жалко. Она не выпустила изо рта хлеб, пока не съела. Как бы ее ни били. Вот так она хотела поест. Вот и думаю все, вот война кончится, буду только каши есть и хлеб, только каши и хлеб буду есть, потому что... наемся досыта вот (Васильева, 23).

В самые тяжелые месяцы блокады (когда, по наблюдению Л.Я. Гинзбург, разговоры в очередях практически не велись) люди реагировали на такие происшествия иначе: в драку грабителя и жертвы не вмешивались (Григорьев, 12).

В контексте проблем этического выбора, связанных со справедливым разделением хлебного рациона, многие наши информанты вспоминают о довесках. Довески создавали иллюзию того, что они не входят в общесемейный рацион, который строго делился между членами семьи. Около прилавка выпрашивали довески. Кто и когда имеет право съесть довесок и не принадлежит ли он тому, кто получает хлеб в магазине, — все это было предметом мучительных сомнений и этического выбора.

Нередко информанты рассказывают о поступках, которые остались в их памяти как постыдные; эти поступки всегда связаны с голодом, со специфическими изменениями сознания под влиянием голода. Л.Я. Гинзбург писала о метаморфозах этического чувства взрослых, отмечая раздвоение личности: чужие поступки человек судит исходя из обычных этических норм, но свои собственные видятся ему иначе — как отчужденные от его постоянной человеческой сущности, временные, объяснимые обстоятельства [Гинзбург 1991: 125]. Все наши информанты, упоминая о поступках, воспоминание о которых связано с чувством стыда, — блокадные дети. Среди прочего в их опыте смерть от голода самых близких людей и сам опыт голода, заставлявшего в момент смерти близких думать о том, что порция умершего достанется им. Подобные эпизоды присутствуют в нескольких повествованиях, например:

[9]

Я очень хорошо помню, что он [отец рассказчика] умирал. А я, все мое внимание было сосредоточено на маленькой сковородочке на буржуйке, на которой готовились для него сухарики, т.е. вот эта пайка, которая у него там была, и у нас там была разделена на такие маленькие сухарики. Я сидел, непрерывно смотрел на это, и мать там, что-то пыталась его напоить, водицей вот этой сладковатой, кипяточком. Вот. И вдруг мать говорит, это я помню четко: «Все, наш папа умер». [Пауза]. А, она мне рассказывала, что он до этого долго-долго следил за мною глазами. А она ему говорит: «Куда ты смотришь, Хельмут?» А он говорит: «На сына смотрю». Все. Как она только сказала, что наш папа умер, я ее спросил: «Мама, а можно я съем эти сухари». Я знал, что это дл... [Пауза]. Вот. Ну, помню жуткий холод, совершеннейший (Вайнштейн, м, 7).

Глазами ребенка

Когда информанты понимают задачу своего повествования не как описание собственно блокады, а как рассказ о себе и своем личном восприятии блокады, интервью блокадных детей и подростков содержат дистанцированный взгляд на блокадный опыт, реконструкцию детских мыслей и забот блокадного времени. Заметим, что собственная биография может представляться рассказчику вполне обыкновенной и не заслуживающей подробного рассказа, и тогда он обращается к блокаде в целом, опираясь на различные известные ему источники информации; детали пережитого всплывают в таких случаях только в ответ на вопросы интервьюера, а само интервью при этом не строится как связный рассказ: получается утомитель-

ный диалог с не слишком развернутыми репликами информанта¹.

Устремления и фантазии блокадного ребенка связаны прежде всего с едой (например, с банками американской сгущенки, поставлявшейся по ленд-лизу). Часто вспоминают о мечтах совершить подвиг:

[10]

И мы хотели поймать шпиона. И помню, мы один раз смотрим, а у нас-то в общежитии-то кто-то сигналит точка, тире, точка, тире, светом. Вдруг это такой длинный свет — тире, и вдруг бум, точка. О, шпион. Мы, значит, крадемся. А это, оказалось, что это дверь туалета, и когда человек входил, там что-то порвалось, вот эта штора затемняющая, и мелькало, а мы думали, что мы шпиона поймали (Жидких, ж, 9).

Шпионы, пускавшие сигнальные ракеты во время бомбардировок, упоминаются и в интервью, и во многих блокадных дневниках.

В сегодняшних, дистанцированных и отчасти иронических рассказах о наивных представлениях и поступках детский опыт травмирующих событий выглядит тем более шокирующим для слушателя — например, рассказ девочки из семьи баптистов о том, как они с сестрой наперебой молились — «молились в драку» — о том, чтобы господь первыми из семьи забрал их к себе (Измайлова, 9). Ср. также:

[11]

Мы жили на первом этаже, поэтому [во время бомбежек] жильцы с верхних этажей обычно шли не в убежище, а к нам — на первый этаж. А я либо под стол залезала, но самое, где мне было, где мне было не страшно, — это пойти в туалет и закрыться на крючок. Вот, мне казалось, уж если я закрылась на крючок, вот такие детские представления, что я останусь жива. Бомба если попадет, то дверь-то у меня на крючке и никакая война ко мне не проберется (Шелемина, 8).

Между тем контексты, где повествование выстроено с опорой на тему «глазами ребенка», отнюдь не везде окрашены иронически; столь же часто встречаются воспоминания об острых переживаниях ребенка, наложивших отпечаток на личность рассказчика, например:

¹ Другие возможные причины такого построения интервью — отсутствие у рассказчика привычки к монологическому говорению и неискушенность интервьюера, который своими репликами и закрытыми вопросами может препятствовать развернутому повествованию информанта.

[12]

Я пришла в дом, и никого нет. Мне было так грустно, я никогда не забуду, какое было, вот, ощущение в груди. Вот, разрывается что-то. Вот мне еще 12 лет, да, такое ощущение: ни мамы, ни папы, ни... бабушка умерла, вот, в июле месяце, ну никого нет, и я одна, одна. Я так расплакалась. У меня была, вероятно, такая дикая истерика, что я не зна... я орала, наверно. И вдруг, в квартире появляется девушка молодая. Девушка, так уж ясно, молодая. Вот. «Что случилось? Что с тобой случилось?». Я рыдаю. Рыдаю, что, вот, никого нет, то что вот... Она, значит, вот так смотрит на меня и говорит: «Как тебе не стыдно, что ж ты кричишь и рыдаешь? Сейчас у всех такое вот несчастье. А ты так вот кричишь и рыдаешь, так что вот с улицы, значит, на улице слышно, я пришла на твой крик». С тех пор я во время войны ни разу не рыдала, не плакала. Мне было действительно так стыдно, что, действительно, всем плохо, а я вот раскричалась (Сахарова, 11).

Блокадный опыт, как он отражается во мне сегодня

Несмотря на шестидесятилетнюю дистанцию, отделяющую рассказы от описываемых в них событий, мир и личность человека, пережившего блокаду, несут на себе следы блокадного опыта. Так, например, образ города блокадников отличается от представлений более молодых поколений уже хотя бы потому, что блокадники помнят, как город выглядел раньше, во время блокады; в частности, помнят, какие дома были разрушены, куда попала бомба. Рассказчики не только осознают влияние пережитого на свое сознание, но и размышляют об этом в повествованиях, которые местами строятся как перечисление следов блокады в их сегодняшних привычках. Это прежде всего привычки, связанные с едой:

[13]

Я научилась за время блокады очень быстро есть и вообще все делать очень быстро. Очень быстро есть, очень быстро одеваться, очень быстро мыться. Я... ванну принять на 15 минут, я не буду вот это размывание, возлежание... всякие эти... Это мне не понятно. Это мне не понятно. Начал — значит быстро кончил. Быстро кончить. Пока не ахнуло. Надо съесть быстро, пока не попал сюда снаряд, пока тебя не убило, не ранило. Вот ведь вот это быстро... я ведь в гостях сижу всегда перед пустой тарелкой [смеется]. Стыдно сказать, но мне что положат — я сразу съедаю. А моя сестра старшая покойная, Людмила. Вот Рина живая, ей будет 80 лет в этом году, она живет под Москвой. Покойная Людмила, она вообще была такого крепкого мощного сложения, но она... всегда очень много ела, вот как мы начали

много есть в сорок третьем, она так до конца своих дней много... она говорит: «Я не могу остановиться». Ну я говорю: «Мила, ну ты же толстая. Ну остановись, зачем тебе, что тебе, ведь чего тебе не хватает?» Все же есть, она работала врачом в том же самом институте первом медицинском. Нет. Она говорит: «Я искалечена блокадой. Я не могу остановиться». Это психическое такое состояние (Ткачева, 11).

Отметим, что такие пассажи, неоднократно встретившиеся в нашем корпусе интервью, никак не были спровоцированы вопросами исследователя. Идея о том, что блокада объясняет сегодняшние привычки наряду с другими тематическими доминантами неявно, или эксплицитно, когда присутствует в контексте как обобщение, используется для связывания последовательных фрагментов рассказа и для обоснования введения тех или иных тем или эпизодов. Как и «глазами ребенка», этот мотив предполагает внимание рассказчика к временной дистанции и к механизму памяти, ср. подчеркнутые слова в приводимом ниже отрывке, завершающем цепочку эпизодов, связанных с голодом:

[14]

А теперь мы уже как бы оступели, сидим с сестрой. Верочка трехлетняя мне шепчет: «Лучше бы [сестра] Любка не пришла, мы бы съели ее паек». И я сейчас думаю, что отрезать я не могла¹, рада была чей-то паек съесть. Господи, да кто же мы были? Мы же были доведенные уже до сумасшествия. Это же ненормально все. И как это было тяжело, я помню это. Потому и сейчас, когда я наливаю себе супа, я сначала поплачу. Я наливаю себе молока или что-то обедать. Я сначала горькими слезами наплачусь. Ведь это еда (Измайлова, 9).

Привязка тех или иных особенностей и привычек к событиям блокадного этапа биографии может распространяться на самые разнообразные бытовые подробности, которые в принципе могли бы и не иметь связи с блокадным опытом. Так, например, собирание потеков парафина с горящей свечи — игра со свечкой, вообще довольно распространенная среди детей — может выглядеть в глазах информанта его глубоко личной особенностью:

¹ Имеется в виду — отрезать от своего пайка, чтобы отдать брату. Выше в интервью рассказывается о случае, когда на карточку девочки не выдали хлеба и с нею поделился своей порцией брат; на следующий день она, как было условлено, должна была отрезать брату кусок от своего пайка, но отрезанный ею кусочек был так мал, что вызвал осуждение всей семьи. Брат вскоре умер от истощения. Этот случай оставил глубокий след в душе рассказчицы.

[15]

Просто было неприятно — только вернешься, еще чуть ли не раздеться не успел — опять сигнал тревоги, опять надо бежать. Потому что мы послушные. И мы перестали ходить, а из комнаты выходили в коридор. Ну, это для того, чтобы от стекол себя спасать. И... Ну там же темно в коридоре, значит, выносили свечку. И у меня... у меня и сейчас эта манера осталась — вот оплывает свечка, а я вот подбираю и опять... ну, чтобы дольше фитиль горел (Рыбальченко, ж, 11).

Тем более отчетливо в таких примерах проступает субъективный символический смысл пережитого для самосознания рассказчика.

Обычай, мотивированный событиями блокадного детства, может оставаться и поддерживаться в семье младшими поколениями; соответствующее событие как исток обычая становится частью семейной истории, однако сам обычай, став семейной привычкой, уже не требует обоснования. Вот фрагмент, где такой семейный обычай касается празднования Нового года:

[16]

Р.: Новый год сорок первого — сорок второго я только помню, что нарядили елку, тем не менее, нарядили. Елка у нас стояла, когда умер отец, она стояла чуть ли не до апреля, вся осыпалась. С тех пор елки в моей, нашей семье, не было никогда, даже нашим детям мы не устраивали.

И.: Это какой-то...

Р.: И даже когда я вырос.

И.: Это у вас какой-то запрет появился?

Р.: Чисто психологический, какой-то такой, ну в общем...

И.: Может быть, память об отце?

Р.: Да, это все совпало, да. Вот эта елка стояла в комнате, а отец лежал чуть ли не месяц в комнате мертвый. Мать не могла его вывезти (Вайнштейн, м, 7).

Этот раздел особенно важен для понимания разницы роли блокадного опыта для поколения взрослых и поколения блокадных детей и подростков. Последние выстраивают свою идентичность с опорой на блокадный опыт, поэтому их личность и сегодняшняя повседневность несут на себе отчетливый отпечаток блокады. Тот факт, что приведенные здесь и подобные им цитаты принадлежат почти исключительно детям и подросткам блокады, не случаен. Взрослые не склонны видеть

в блокаде источник влияния на их личность и послевоенную жизнь, они чаще говорят о влиянии блокады на здоровье и, например, связывают сегодняшние проблемы со здоровьем с опытом военного времени.

* * *

Рассказы о блокаде, собранные в ходе проекта Центра устной истории ЕУСПб, принадлежат представителям разных поколений: опыт наших рассказчиков существенно различается — одни были взрослыми и работали; другие, подростки, работали или учились; третьи, не достигнув еще школьного возраста, ходили в детский сад, оставались дома с матерью или родственниками либо были воспитанниками детских домов.

Рассказы каждой категории блокадников имеют свои содержательные особенности; однако можно было бы условно подразделить их на две группы: детей и взрослых, при этом рассказы подростков (точнее, отдельные части рассказов) тяготеют то к одной группе, то к другой. Черты нарративных построений и стиля рассказывания столь разнообразны и зависят от стольких факторов, что не представляется возможным показать их связь с принадлежностью к группе взрослых или детей. Но очевидным образом различия в этих двух группах рассказов сфера опыта, отраженная в повествовании. Для младших блокада — прежде всего семейная трагедия, где в центре фигура матери; поступки и ответственность главного героя биографического повествования связаны с бытом. Для старших оказывается значимым более широкий контекст — трудовая и общественная деятельность. Соответственно в памяти остаются подробности разного типа: для одних, скажем, это ленд-лизовская сгущенка, для других — люди с «Большой земли», встреченные в блокадном городе.

Старшие в целом более склонны к обобщениям, тогда как рассказы младших обычно богаче деталями (в том числе деталями, относящимися к «памяти тела» — запахи, вкусы). И хотя блокадные дети в большей степени связывают яркие эпизоды из собственного опыта с информацией, взятой из других источников, получающаяся картина оказывается более личной и подробной. Это тем более объяснимо, если учесть, что для старшего поколения блокадный опыт — только часть их биографии среди прочих, не менее значительных периодов, которым в биографических интервью бывает уделено значительное место; старшим есть что вспомнить и из доблокадной жизни. Для младшего же поколения блокадный опыт оказывается центральным и особенно важным для их сегодняшнего самосознания. Это проявляется, в частности, в выраженном инте-

ресе к публикациям на тему блокады. В то же время разница в роли блокадного опыта для самосознания рассказчика (как оно представлено им в рассказе) определяется, конечно, отнюдь не только принадлежностью к возрастной когорте.

Отношение к блокадному опыту и особенности передачи памяти в семье также разнятся у представителей старшего и младшего поколений. Сами рассказчики, отмечавшие эту разницу, блокадные дети, оценивали свои повествования как фрагментарные и разрозненные воспоминания, которые были бы более полными и связными, если бы их матери охотнее отвечали на их вопросы и не отказывались разговаривать о пережитом во время блокады.

Как отмечали сотрудники Центра устной истории, проводившие интервью, все случаи, когда информанты просили отключать диктофон, редактировали транскрипцию, не разрешали публиковать части интервью или же просто рассказывали самые интересные подробности только после окончания интервью, за чаем, — все эти случаи приходится на интервью с представителями старшего поколения блокадников.

Блокадные подростки указывали, однако, и на иного рода различия в отношении к блокадному опыту: бывало, что старшие, родители, после войны обсуждали блокаду между собой (и могли использовать ссылки на блокаду в воспитательных целях), тогда как младшие, подростки, избегали таких разговоров:

[17]

Ну, в общем, это, и... память, вообще, загнала все эти воспоминания очень далеко. Очень глубоко. И я помню, что, когда мы вырвались из всего этого и оказались в какой-то совершенно другой жизни, это после блокады, то я только помню, что, когда мама начинала с кем-то разговаривать на эту тему, я зажимала уши и убегала. И то же самое моя сестра (Зеленина, 16).

По прошествии многих лет, когда бывшие подростки стали старшими в своих семьях, блокадный опыт подвергается переосмыслению, рефлексии, достается из дальних углов памяти и получает новые смыслы, важные для самосознания личности и поколения в целом.

Библиография

Воронина Т., Утехин И. Реконструкция смысла в анализе интервью: тематические доминанты и скрытая полемика // Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования / Под ред. М.В. Лоскутовой. М., 2006. С. 230–261.

Гинзбург Л.Я. О моральном инварианте // Гинзбург Л.Я. Претворение опыта. Рига; Л., 1991.

Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002.

Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. СПб., 1994.

Михайлов Б. На дне блокады и войны. СПб., 2001.

Linde Ch. Life Stories: the Creation of Coherence. N.Y., 1993.